

Анастасия Цветаева, её «Воспоминания» и судьба Марины Цветаевой

Станислав Айдинян, Южное сияние, №5 • 01.12.2012

Печатается к 120-летию со дня рождения М.И. Цветаевой

Анастасия Цветаева, писатель-импрессионист, чья проза по природе своей поэтична. В ней оживлённость сердечности... Прочно увиденное, прочно запомненное удивительно музыкально передано во всей высоте лиризма и необыкновенности. Вот что роднит её прозу с прозой сестры Марины, делает её с большой буквы Цветаевской.

Перо писательницы совершенно свободно в лучшем, самом светлом смысле слова. Это та высокая свобода самовыражения, которая несёт полноту пережитых мыслей и оттенков чувства – огромное богатство необозримой вчувствованности в природу, в душу характера, в образы времени.

Знаменитая книга «Воспоминаний» Анастасии Ивановны создавалась не сразу, у неё были своего рода «предшественники».

Сначала детский (с двенадцати лет), потом юношеский её дневник. О нём спустя годы Анастасия Ивановна писала: «Дневник этот всё более занимал места в моей жизни, как в Марининой – стихи. Привычка отображать пережитое, отдавать себе отчёт в мыслях и чувствах выработалась в подобие тайного спутника, уже становящегося поддержкой в моих днях»;

«Он занимал столько места в моей юности, в каждом дне, каждой ночи... был неиссякаем в своих утешениях, возвращая мне с избытком силы, отданные на его создание...». Именно он, несохранившийся дневник, может полноправно считаться пратекстом, первой литературной основой «Воспоминаний» как и, ещё раньше, дневник был основой двух первых книг писательницы, которая пишет: «В нём в свою очередь рождались будущие “Королевские размышления”, “Дым...”», лишь две всего в печать попавшие злополучные книжки». В дневнике были исключительно интимные, исповедальные страницы. Исповедальность, безоглядная искренность. Жизнь с юношеским головокружением – как на краю бездны...

На чердаке дома Лебедевых, квартирных хозяев А.Цветаевой в Александрове, сотрудником Литературно-художественного музея М. и А. Цветаевых был найден среди прочих бумаг и подлинный отрывок одной из дневниковых записных книжек А. Цветаевой, две странички, вырезанные из небольшой тетрадки. Вот этот, чудом дошедший до нас, несколько патетический фрагмент: «О скажи, мама! Это твое напутствие? А Марусе ты написала длинное стихотворение, которое оканчивается этими 4-мя строками: “Вы живёте во мраке, в оковах, в аду... / Я вас к свету, к свободе вперёд поведу! / Верьте – некуда больше идти – / Нет иного пути!” ... Ты ей указала дорогу, тоже смелую, гордую. Ту единственную дорогу, по какой могут идти такие, как она. – “Нет иного пути!” Да, это было напутствие. Я стала верить снам и гаданиям. Любовь сильнее смерти. Если верить, верить в невозможное, оно станет возможным. Надо сильно желать, сильно верить, сильно любить, – и преграды разрушатся. Часто, читая какую-

нибудь книгу, или гуляя по тем самым местам, которые ты так любила, я думаю о тебе, представляю себе тебя и мне чудится твой смех, голос, смелые песни и ты вспоминаешься мне. Какою ты была когда-то давным-давно, в солнечной, яркой Италии среди цветов моря и земли. Часто я хожу на ту лесную поляну, которую ты звала “пеньки” и которую так любила, и глядя на грустные молодые берёзки и осины, вспоминаю тебя. Поздно... поздно. ...31 мая... Осенью этого года мне исполнится 14 лет. После лета 1906 года настала тёплая осень. Все уехали в Москву, Маруся в гимназию живущей, Андрей тоже в гимназию, папа уехал с ними, а я до 22 октября жила у Добротворских. Ты помнишь, я и в Ялте и здесь, в противоположность Марусе, была “реакционерка”. Мало-помалу взгляды мои стали...” Заметим, что в этом фрагменте приведена заключительная часть стихотворения «Я оторван от жизни родимых полей» Скитальца (Степана Гавриловича Петрова, 1869-1941). Его поэзию любила мать, Мария Александровна.

Мария Александровна Цветаева, о которой так тосковали обе её дочери, видела удивительные сны, например о том, как будто бы в их с отцом доме умирает у них на глазах Гёте. В свой дневник она вписывала восхищённые строки о поэзии С. Надсона. В наиболее полный вариант «Воспоминаний» включены таинственные случаи, говорящие о её неизвестных ранее, необыкновенных качествах... Благодаря «Воспоминаниям» Анастасии Ивановны в Российском государственном архиве литературы и искусства была атрибутирована, «опознана» единственная из сохранившихся рукописных книжек материнских дневников. Анастасия Ивановна сама говорила, что её дар слова, как и музыкальность, унаследованы от матери, чьи дневники сёстры, получив от отца, разделили между собой. Однако она имела в виду не столько письменный стиль, сколько устный, – блестящую вдохновенную речь, полную сложных, прихотливых периодов...

Романтизм, склонность дорожить прошлым, стремление оглядываться назад со словами «А помнишь?..», – всё это действительно от матери. Её страстность, её музыкальность, её стать, её чувство долга... Считается, что работоспособность, выносливость пришли генетически по отцовской линии, от деда, протоиерея Владимира Васильевича Цветаева, простого владимирского пастыря, нравственно сильного и патриархально-задушевного, оставившего по себе самую добрую память у прихожан. Эти качества взял от своего отца отец сестёр, Иван Владимирович, профессор классической филологии, искусствознания, который основал и подарил России грандиозный Музей изящных искусств в Москве, на Волхонке.

Тем не менее, нельзя утверждать, что литературная одарённость Марины, Анастасии, (да и хороший слог старшей их сестры Валерии и брата Андрея) – вовсе не от отца. Сохранилось немало писем И.В. Цветаева, написанных лёгким, образным, эмоциональным и, подчас, остроумным пером. Сохранился и его дневник, к сожалению, до сих пор не опубликованный. Вот пишет он в свой день рождения 4 мая 1899 г. письмо к профессору И.В. Помяловскому: «Раннее утро. День солнечный, на небе ни облачка, в воздухе тепло и соседних с моим окном тополей благоуханье, а в высях слышится птиц легкокрылых щебетанье»... И ниже: «Подождал, походил по двору, обозревая молодые топольки, и почтительно и радостно мне кивавшие своими зелёными листочками. Такие милые». Чувство Природы, не с него ли начинается в душе взволнованность вдохновения?.. Не от этого ли истока сама *сила* творчества?..

Дневник Анастасии Цветаевой, как мы сказали, был первым пратекстом «Воспоминаний». Но существовал и своего рода второй после дневника пратекст, пропавший при аресте А. Цветаевой в 1937 году. Это был её неоконченный двухтомный роман «Нюрнбергская хроника». Там действие было перенесено в Германию. Отец был немецкий профессор. М. А. Мейн-Цветаева звалась фрау Мария. Марина и Анастасия – старшая Беата и младшая Эрика. Когда уже после тюрем, лагерей, ссылки и потом реабилитации Анастасия Ивановна стала писать «Воспоминания», то ей приходили на память не только картины прошлого, но и отдельные, списанные с реальности, сцены из того утерянного довоенного романа. Однако всё же неоконченная «Нюрнбергская хроника» преимущественно художественное произведение, включавшее автобиографические эпизоды. Анастасия Ивановна рассказывала: «... старшая из нас будто бы была невестой англичанина, когда разразилась мировая война 1914 года – и разлучила их. Тогда Беата поступает на курсы сестёр милосердия, перебарывая нелюбовь к медицине и идёт на фронт в фантастической надежде где-то в боях встретить своего жениха. И погибает. Младшая, Эрика, остаётся жить»...

«Воспоминания» Анастасии Ивановны – тоже явление художественное, однако основной их художественный крен – в искренность. Они, прежде всего, передают атмосферу эпохи, среды, в них – портреты замечательных личностей, целый «прошлолетний круг» её современников. Образы явлены в обрамлении чувств столь тонких, что удивляешься чутью писательницы, сумевшей вспомнить и описать их. Что касается стиля, то явь «Воспоминаний» импрессионистически живописна, прошлое приближено чутким отражением оттенков движений души, лиц, красок. Недаром любимым писателем её был Марсель Пруст.

Недалеки от истины и те, кто говорил, что она отдавала дань отражению «потока сознания», но в её прозе есть и черты, свойственные литературе времён символизма. Во времена молодости, среди друзей сестёр Цветаевых, – у Эллиса, М. Волошина, – доминировала концепция символизма как жизнестроительного течения. Жизнь для сестёр была «первичней» литературы. «Днём я жила, а ночами писала, сжигая себя», – говорила Анастасия Ивановна. В сущности, сёстры в юности вольно и невольно искали друга, *человека* и находили его... на какое-то время, потом жизнь менялась, человек менялся или погибал, наступали войны, сломы эпох, революции, а душа всё ждала новых надмирных встреч, новой любви. Особенно это было свойственно Марине Ивановне, которая писала 25 янв. 1925 г. О. Колбасиной-Черновой: «Кроме того, не умею на людях, мне нужны не люди, а человек – один – упор – хотя бы одного вечера» (МЦС т. 6, с. 712). Вспоминая В. В. Розанова, Анастасия Ивановна говорила, что он был не оратором, как Бердяев, а человеком «интимного собеседования»... И тоже, как и она, был жаден до сердечного контакта. Когда читаешь наиболее полный вариант «Воспоминаний», понимаешь, что А. Цветаева как никто воплотила эту жажду – жажду любви, столь печально и высоко свойственную человечеству. Она отразила трагическую утверждённую любовного чувства. Так было у неё с Б. Трухачёвым, Н. Мироновым, с М. Минцем, много раньше – с В. Нилендером. «Я обманываю и Серёжу, и Толю, и всех, кто придёт, тем, что не могу остановить своё очарование к ним идущее и не могу не чувствовать их так, как если бы каждый из них был мне единственен. Каждому я хочу добра и каждому несу страданье. Вот в чём моя вина...», – писала она.

В юные годы Анастасию Цветаеву, как и её сестру Марину, не покидало чувство одиночества, несмотря на все привязанности и дружбы. Жизнь представлялась трагичной

нелепостью, от которой нужно устраниться... Ей тогда были свойственны волевая самостоятельность и... усталость от мысли, что – нас бросили в мир и забыли. Отсюда теоретическая готовность – по выражению её старшей сестры – «Творцу вернуть билет». Анастасия Ивановна жила в юности в стихии трагического. Таков был дух времени, в ней воплотившийся. Таково было искусство, и таковы были литература, таким был кинематограф...

Страдающая искренность восхищала друга Анастасии Ивановны, философа-эссеиста Василия Васильевича Розанова. Лирико-философская открытость роднила молодые дневниковые страницы с его собственными книгами – с «Уединённым», с «Опавшими листьями»... Не сохранилась книга А. Цветаевой о Розанове, о которой он сам говорил, что запечатлён в ней «как в синематографе», не сохранилась их обширная переписка... И вот – прошли годы – позади революция, унёсшая дым тоски, утопившая многие тонкие печали в лишениях, в тяготах, в ужасающей нищете и её преодолении. Тоска о несовершенстве мира сменилась верою, помогавшей жить, писать и не идти на компромиссы, которые предлагало время. В самые трудные для Анастасии Ивановны годы – в тюрьме, в лагерях, потом в ссылке – она выдержала испытания, и основой твёрдости её было *христианство*, которое она прочно несла в душе с двадцати семи лет. Человек – это убеждения. Убеждения – это свобода и необходимость поступать по-своему, в соответствии со светом истины, которая светит тебе...

Кроме письменных «пратекстов» существовала и первоначальная устная версия, Анастасия Ивановна рассказывала о детстве старшей внучке, Рите Трухачёвой, об этом сказано в повести «Моя Сибирь» (1976): «Когда я начала рассказывать Рите мое детство? Лет с пяти? Трудно вспомнить. Но рассказ родился и рос органично, обратный тому, когда я выдумывала сказки. Тут всё было “документально”, правдиво, я воскрешала бывшее с почти документальной точностью, это был труд. Он всегда происходил на ходу, по пути из села или назад в село, я умолкала на полужае... В следующий раз кто-нибудь из нас спрашивал: “Где мы остановились?” Это был пароль. И моё детство продолжало развёртываться, повторяться – год за годом, зима за осенью и весна после зимы, все дома, все города, все страны, все подруги, все друзья. Узнавала ли всё это Рита, когда, более десятилетия спустя, она получила в подарок мою книгу “Воспоминания” (1971)?» (с. 144).

«Воспоминания» писались и в Москве и в Павлодаре, где жила семья сына Андрея Борисовича Трухачёва. Там, в Павлодаре, Ольгой Григорьевой создана книга-очерк «Зовут её Ася...» (2006) с подзаголовком «Фрагменты жизни Анастасии Цветаевой». Её можно прочесть в Интернете. Приведём опубликованные там свидетельства о том, как писала Анастасия Ивановна: «О напряжённом писательском труде А.И. Цветаевой вспоминают и павлодарские одноклассницы Риты – Лидия Сотник и Татьяна Кокорева: “Когда бы мы ни пришли к Рите, бабушка всегда работала – писала, писала, писала... Везде лежали рукописи. Иногда она устраивала себе перерыв на 15 минут и говорила, чтобы в доме была тишина. Мы ходили на цыпочках... Отдыхала она ровно 15 минут, а потом снова работала”».

Когда первоначальный текст был написан и перепечатан на машинке, профессиональный редактор, некогда работавший в издательстве «Земля и Фабрика», Иосиф Филиппович Кунин дружески стал помогать в 1966-67 годах его править. Об этом

свидетельствует сохранившаяся благодарная дарственная надпись на машинописи, адресованная Иосифу Филипповичу и Розе Марковне, его жене.

Фрагменты, посвящённые детству, юности и поездке к М. Горькому под названием «Из прошлого» опубликовал «Новый мир» в 1966 году (№ 1, 2). Принёс их в журнал известный литературовед, специалист по литературе серебряного века, Е. Б. Тагер, добрый знакомый Марины, а потом и Анастасии Цветаевых. «Новый мир» в те годы по праву считался ведущим толстым журналом страны, и на фоне обширного мелкотравья тогдашней советской литературы даже фрагменты столь живой, искренней, тёплой и, одновременно, тонко импрессионистической прозы вызвали множество восторженных откликов.

В издательстве «Советский писатель» на «Воспоминания» были заказаны «внутренние» рецензии. Наиболее показательна для того времени рецензия советского критика Николая Семёновича Гуса, который выделил три основных подхода А. Цветаевой к прозаическому отражению прошлого: по первому подходу «Автор переносится в прошлое и мы видим его глазами *тогдашних* Аси и Марины». Соответственно второму подходу, «... автор воспоминаний показывает нам то, что было, но с точки зрения сегодняшней своей, ретроспективно». И далее критик заподозрил мемуариста в желании – влить новое вино в старые меха. «Однако, наряду с этими двумя методами воспоминания, – пишет Н. Гус, – широко использован – чаще, чем два упомянутых способа – третий, так сказать, смешанный приём. Рассказ как будто ведётся непосредственно, как сколок с того, что было, как оно было тогда, но в то же время мыслит, чувствует, говорит мемуаристка (подросток, девушка) так, как она не могла тогда, так, как подсказывает теперь весь опыт её жизни». «Неужто же именно так чувствовали и думали эти девочки тогда?!» – недоумевает в 1967 году Н. Гус. Ему было непонятно, что сёстры могли иметь столь раннее развитие души. Анастасия Ивановна со своей стороны убеждённо настаивала на том, что она именно так тогда чувствовала... Ей была присуща «вневозрастная зрелость».

Пусть мемуаристкой не выдержан, не проведён «последовательно» какой-либо один метод. Зато достигнута зримость, текст увлекателен и уводит за собой читателя, которому не хочется оторваться от взятой в руки книги. Но это только в том случае, если человек сердечен по своей собственной природе, ибо эта книга по природе своей сердечна. В искусстве, в литературе, человек, как правило, ищет того, что ему уже дорого, что составляет память его собственного сердца, что ложится на кантилену ассоциаций его пережитого опыта...

«Оправдана ли такая детализация мемуаров?» – риторически вопрошает Гус. Ответом ему видится давнее мнение поэта Владислава Ходасевича, старого знакомого А. Цветаевой по Коктебелю, – «Из мемуаристов наилучший тот, который, не мудрствуя лукаво, даёт *наибольшие сведения о наибольшем количестве фактов*. Общеизвестно, что иногда *незначительная подробность или случайно упомянутая дата* оказываются при исторической обработке наиболее ценными и важными из всего мемуарного состава» – Ходасевич, сказал это, рецензируя книгу воспоминаний З. Гиппиус «Живые лица» («Современные записки», 1925 кн. XXV, с. 537). Это ещё более верно в отношении семьи Цветаевых, о которой создана целая библиотека книг и статей. А сколько действующих и посещаемых музеев хранят память об этой семье! Любая подробность не только ценна сама по себе – она открывает возможность новых линий исследования для

цветаеведения. Научные конференции, посвящённые «быту и бытию» семьи Цветаевой проводятся ежегодно и в музеях и в высших учебных заведениях не только нашей страны.

Анастасия Ивановна годы спустя рассказывала, что у неё имя этого советского критика, Михаила Семёновича Гуса ассоциировалось с сокращённым названием Государственного Ученого Совета. Она понимала, что её книга не настолько советская, чтобы иметь положительные отзывы. Однако, когда она всё-таки в 1971 году вышла, Гус, (тот самый, что громил в «Правде» Войновича), с надеждой, жалобно спрашивал своих коллег по издательству – как вы думаете, она мне надпишет свою книгу? Он не мог, как опытный литератор, не почувствовать обаяния и силы цветаевского текста, но «бдительность», хорошо усвоенная за советские годы, не позволяла открыто такие книги поощрять... Второй рецензент, ещё более известный литературовед, А.Западов всё же заключил свой отзыв словами: «Но выпустить эту работу следует», однако и он говорил лишь о неполном издании книги.

«Моя книга “Воспоминаний” была передана в “Советский писатель” и на прочтении и рецензии лежала там более трёх лет, и были две отрицательные рецензии Гуса и Западова, когда на вечере 80-летия Мариэтты Сергеевны Шагинян оба мои друга Фейнберги приступили к директору Н.В. Лесючевскому с настойчивой рекомендацией её напечатать.

– А вы возьмётесь её редактировать? – спросил Лесючевский.

– Возьмусь! – отвечала Маэль Исаевна.

И работа началась. Я проводила у них день за днём всю ту зиму, за которую мы с Маэлью Исаевной по плану нашей работы должны были окончить пересмотр и переработку всего материала первого тома моих «Воспоминаний», – так писала Анастасия Ивановна в очерке «В те счастливые дни», который вошёл позже в её книгу «Неисчерпаемое» (1992).

«...Мой прелестный редактор, без которого моя книга не вышла бы, – она все бои встречала грудью, она эту книгу родила; я её только выносила...», – говорила о Маэли Исаевне Фейнберг-Самойловой Анастасия Ивановна. Однако обе они сетовали на вынужденный, и частью цензурный характер сокращений, на которые приходилось идти. И вот, позже, от издания к изданию в «Воспоминания» Маэль Исаевна по возможности добавляла главы, ранее неизвестные.

Воскрешать к жизни преданных забвению, давать им возможность пожить ещё миг – один из глубинных лейтмотивов последней Цветаевой. В ком так ярко была жива память, кто имел магическую способность возвращаться в былое? – В том, в ком ясность прошлого, в том больше сил для настоящего, и в том больше будущего. Интенсивность самосознания, интенсивность личности. Вот что необходимо сказать о писательнице, и о том, что её сделало писательницей. Именно так нам видится А. Цветаева, человек глубоко по-своему чувствующий и знающий мир. Беллетризация у неё совершенно не перевешивает достоверность, как это происходит, например, у Г.Иванова в его «Петербургских зимах», или у Э. Миндлина в его «Необыкновенных собеседниках». А.И. Цветаева дала себе в двадцать семь лет религиозный обет – «не лгать», и следовала

по большому счёту этому обету всю жизнь. О чём-то недолжном могла умолчать, ведь правда для неё не была самоцелью, она не «конструировала», не направляла политически «своевременный» взгляд в прошлое и никак не обеляла это прошлое, как её безуспешно пыталась в этом обвинить в 1980 г. литературовед из США, В. Швейцер, опубликовавшая в 1980 г. в журнале «Синтаксис» (№ 40) «открытое письмо» к А. Цветаевой. Понимала ли она, что ответ на такое письмо из Советской России тогда был просто опасен и для Анастасии Ивановны и для её близких?..

Другое дело, что в любых мемуарах есть неточности, есть ошибки – память человеческая изменчива и несовершенна. Необходимо иметь в виду, что ошибки возникают особенно там, где память задним числом создаёт иные картины, чем те, что были в действительности. Бывают в любых мемуарах и невольный домысел и вымысел, которыми, по словам Анастасии Ивановны, была полна автобиографическая проза её сестры Марины Ивановны. Наблюдательный свидетель, писатель, поэт – очень индивидуальный очевидец, как все свидетели.

Так, описывая открытие Музея, обе сестры видят всё каждая по-своему. Анастасия Ивановна пишет, что «древнего сановитого старичка в золотом мундире», описанного у сестры в её «Лавровом венке», не помнит. И теперь понятно – почему. Да потому, что видела его не юная Марина Цветаева, а Сергей Эфрон, её не менее юный муж, описавший того старичка в письме к сестре. Это его впечатления переданы Мариной Цветаевой и поданы художественно, гротескно. Да, старик тот, поставленный на ноги С. Эфроном, присутствовал не при открытии Музея, а несколько ранее, в тот же день при молебне на открытии памятника императору Александру III. Доказательством служит упомянутое письмо от С. Эфрона к В.Я. Эфрон от 7.06. 1912: «В Москве я был и на открытии Музея и на открытии памятника Александру III. В продолжении всего молебна, а он длится около часа, я стоял в двух шагах от Государя и его матери... На открытии были все высшие сановники. Если бы ты знала, что это за разваливающиеся старики! Во время пения вечной памяти Александру III вся зала опустилась на колени. Половина после этого не могла встать. Мне самому пришлось поднимать одного старца-сенатора, который оглашал залу своими стонами» (М. Цветаева «Неизданное. Семья: история в письмах», М., «Эллис Лак», 1999, с. 133-134).

Однако, продолжая эту тему в полном, несокращённом варианте статьи «Корни и плоды», Анастасия Ивановна пишет: «Но старик Иловайский, тесть отца по первому браку, пришедший будто бы в нестерпимой жары день, когда дамы задыхались под высокими стеклянными потолками в шёлковых белых (по приказу церемониймейстера *закрытых*) платьях, Иловайский, пришедший, как пишет Марина, в **бобровой шубе**. Жена его, чопорная дама, по своеволию не подчинившаяся приказу церемониймейстера (её бы не допустил он – или слетел бы с должности), надевшая белую кофточку и **клетчатую** юбку, в присутствии царских особ – для чего так захотело перо? Оно веселилось!.. Никому не отдавая отчёта». Вот почему Анастасия Ивановна сравнивала творчество сестры с горным потоком, а свою прозу – с равнинной рекою...

Нельзя не сказать, что А.И. Цветаева – психолог детства... И типизация речи героев у неё изумительна. Мастерство автора «Воспоминаний» вполне сравнимо с мастерством создателя другой семейной хроники – «Детство Тёмы. Гимназисты» Н. Г. Гарина-Михайловского, также классика русской автобиографической прозы. Правда, хроника

Михайловского – произведение более жёсткое, в нём больше сказано о том, как наказывали детей в то время...

«Воспоминания» охватом переросли поставленную первоначально цель. От Анастасии Ивановны ждали книги о сестре. Получилась семейная хроника. Конечно, хроника не может касаться только личности Марины Цветаевой, классика поэзии Серебряного века, хотя первоначально было желание создать такой прозаический памятник. Как памятник Леонардо да Винчи в Милане окружён статуями учеников, а в Петербурге статуя Екатерины Великой окружена фигурами её фаворитов, так не осталась одинока и Марина Ивановна, впрочем изображённая в окружении живых людей, а не немых статуй. Ариадна Эфрон, дочь М.И. Цветаевой, хотела, чтобы портрет был, как раз «побронзовее», без живых человеческих недостатков.

Об этом и написала Ариадна Сергеевна в письме к Анастасии Ивановне 8 апреля 1959 года, ещё до всех осуществлённых и неосуществлённых публикаций: «...Относительно Ваших воспоминаний: только из Вашего последнего письма я узнала о том, что это вовсе не воспоминания о маме, а мемуары – тогда, конечно, мои “претензии” отпадают – о чём же тогда, действительно, спорить?

Вы пишете, что разослали свои мемуары разным людям, чтобы сравнить их впечатления (относительно образа мамы) с моими. Милая Асенька, в этом деле моё мнение остаётся неподвластным впечатлениям каких бы то ни было читателей – пусть даже почитателей. Я считаю, что одних слов Вашей матери о том, что Муся с 4-х лет подбирает рифмы, мало, чтобы показать поэтическое своеобразие в ребёнке, в этом ребёнке. “Поэтическое”, конечно, не то слово. Своёобразие потом вылилось в поэзию, но своёобразие должно было быть. Если мамино детское своеобразие заключалось только в драках с Андреем и притеснении Вас, и в постоянном прибегании к протекции Валерии против матери, – то откуда же впоследствии взялась поэзия? Только из этого? Тогда все советские дети были бы поэтами! Вы были слишком малы сами в тот период, чтобы многое понимать и анализировать? Согласна – но ведь воспоминания Вы пишете в 64 года, понимая и анализируя, скажем, родителей? Почему же тогда в описании Марины писать иным способом – с точки зрения 5-7-летнего ребенка? Тогда и родителей надо давать так, как их воспринимал детский взгляд и ум. Вот в письме Вы говорите, что Маринина дерзость и грубость скрывали большую душевную ранимость, но в воспоминаниях этого нет, есть только факты грубости необъяснённые и необъяснимые. Впрочем, всё это относится опять-таки к “воспоминаниям о Марине”, а не к “мемуарам” более объёмным вообще и менее пристальным к ней в частности.

Вы говорите о том, что Пастернак плакал над “матерями и девочками”? Но не забудьте, что он никогда не переслал мне отрывок, над которым плакал – и не для того, чтобы, скажем, сохранить себе на память, а просто, как всё на свете, мамы касающееся, как-то упустил из рук. В этом – вся его “любовь” к маме! Масса эмоций, и никакого, пусть минимального, действия.

Ещё и ещё раз повторяю – написано прекрасно, Вашей памяти и зоркости, их конкретности только позавидовать можно. Очень вероятно, что “упрёки” мои неправильны, я к маме пристрастна всегда и во всём, для неё мне и большего было бы мало, Бог дал, человек не обузь! (...)

Моя память хранит её великий дар, её великое благородство, гордыню, гордое одиночество, её великую любовь к нам, детям, и к нашему отцу, героическую борьбу с бытом и бедность, широту и глубину её страстей – увлечений людьми, природой, явлениями, и при всём многообразии – отсутствие хаотичности, расплёсканности – стройность душевного строя!

Мужскую организованность в работе! вплоть до порядка в дне, в рукописях, на рабочем столе! Да разве всё перечислишь... Мне ли копать – да и вам ли? в промах, в расхождениях с моралью сгубившего её с позволения сказать “общества”? И я убеждена, что права именно моя память, забывшая плохое, ибо оно так мало, так мелко, что, как труха, развеялось на ветру времён и событий. “Всякое лыко в строку” по отношению к ней – я так не могу».

Вот так дочери М. Цветаевой казалось, что правдивые, но не касающиеся «становления поэта» подробности жизни ранних лет поэта просто не нужны...

В своих текстах о матери А. Эфрон так и поступила – создавала очень живой, но одновременно «правильный» с её точки зрения и, конечно, цензурно «проходимый» образ матери. К счастью, сохранились в РГАЛИ детские дневники А. Эфрон, где она подробно пишет о матери, и далеко не всегда «возвышенно» о её самом близком окружении.

С этими дневниками она сверялась, когда писала. Анализу, пристальности ко всему сущему, конечно, бессознательно училась у матери, как и её брат Георгий Эфрон, чей юношеский дневник имеет немалое значение для характеристики своего времени, так как он написан без страха, непринуждённо, хотя и не без мальчишеского самолюбования и самоуверенности. В нём отпечатались и тяжкие испытания, выпавшие на его долю после смерти матери.

Однако скажем справедливости ради, что несколько ранее, 11 сентября 1958 года А.С. Эфрон высказывала в письме своё первое, весьма положительное впечатление: «Дорогая Асенька, получила ещё воспоминания, начинается с родителей, отчасти с предыстории маминой и Вашей. Как это должно идти – так, как Вы мне посылаете, подряд, или то, что Вы прислали теперь является началом, а то, что посылали раньше – продолжением? Страницы с Поленовым, о которых спрашиваете, получила. Спасибо Вам, Вы делаете то, что Вам одной дано, делаете за всех ушедших, возвращаете им голос, зрение, жизнь. А без Вас это всё – эти все – канули бы в бездонное, безвозвратное. Вы делаете великое, чудесное дело – в таких тяжёлых условиях, в такой враждебности дней! Да и в людской враждебности. Всё так называемое “новое” так органически враждебно так называемому “старому” – пока само не превратится в “старое”. А в наши дни это зачастую принимает такие уродливо – и угодливо – варварские формы! Т.е. это постоянное, научно обоснованное поправление корней и истоков сегодняшних и завтрашних дней...»

Есть и ещё письмо А. С. Эфрон, касающееся «Воспоминаний» Анастасии Ивановны, 5 октября (1958 г.). Вот извлечение из него: «Милая Асенька, ещё добавление: переписываю, каждый день понемногу, Ваши воспоминания. Они очень хороши, талантливы, своеобразны. Их своеобразие, как говорят знатоки и ценители, которым я даю их почитать – сродни маминому и пастернаковскому.

Для меня это – клад, воскрешение маминых, а через неё и моих собственных – истоков. Многое помню с маминых слов – и записанного Вами, и ещё другого. У меня только одно пожелание – может быть эгоистичное, так как пытаюсь собрать о маме, что возможно – это чтобы в воспоминаниях Ваших Вы о ней не забывали. В последнее время она, именно она, из написанного Вами исчезает, постепенно заменяясь Валерией Ивановной. Мама сочла бы эту замену – изменой, я же думаю, что сейчас Вы пишете с оглядкой именно на В.И., с оглядкой на то, что прочтёт это именно она, последний вместе с Вами живой свидетель тех лет. Это естественно.

То, что я пытаюсь записывать о маме, я пишу не для себя, не для Вас, не для родных и знакомых. А «для тех, через сто лет», чтобы им помочь узнать правду. Впрочем, моя правда субъективна, так как я давно забыла об обидах и шероховатостях наших с мамой отношений, и, забыв о них, легко отошла на задний план, выпустив вперед её, о которой, которую пишу.

Крепко целую Вас, желаю сил и здоровья. Как только получу какую-нибудь денежку – пришлю. Подошло ли, понравилось ли присланное мною всем вам? Жду от Андриуши весточки. Ваша Аля».

Это ещё одна грань мнения Ариадны Сергеевны. Прав Марк Слоним, говорящий об Ариадне Сергеевне: «Она собрала архив рукописей М.И., много поработала... над опубликованием её произведений и делает это со страстью и ревнивым обожанием, как бы искупая прежние грехи и утверждая в то же время своё исключительное право распоряжаться литературным наследием матери» («Воспоминания о Марине Цветаевой», М., 1993, с. 342).

Тем не менее, надо ясно понимать, что Анастасия Ивановна создавала не биографический панегирик великому поэту, а живые воспоминания о своей жизни, неотъемлемой частью которой была сестра Марина. Её стремление отразить правду, не приукрашивая оную, сегодня нам особенно ценно.

В предисловии к сборнику «Серебряный век. Мемуары» (М., «Известия», 1990) Н. Н. Богомоллов справедливо писал: «Однако людям, ищущим в сборнике воспоминаний исторической истины, хотя бы относительной, следует помнить, что в любых мемуарах первенствует личность автора, вольно или невольно выдвигающего себя если не на первый план, то, во всяком случае, постоянно присутствующего в повествовании и меняющего его направленность и степень объективности» (с. 9).

Личность Анастасии Ивановны, живая, ёмкая, глубоко воспринимающая жизнь, не могла полностью устраниваться из мемуарного повествования, ведь вся её проза, за редким исключением, автобиографична.

Считается, что в русской классической литературе лучше всех процесс появления на свет человека, процесс родов описал Лев Толстой. Однако данное в полном «кодексе» «Воспоминаний» описание своего собственного, а не воспринятого созерцательно, со стороны, опыта Анастасии Цветаевой, кажется нам по образности и представимости совершенно уникальным и не менее убедительным.

При этом Анастасия Ивановна могла памятью ярко и тонко вернуться в детство. Ей подвластно было возродить в себе мироощущение ребёнка.

Реконструкция психологического состояния начальных дней прямо целебна – ведь ясновидящий В. И. Сафонов, находивший потерянных детей, никогда до того их не видя, говорил, что для того, чтобы обрести здоровье, надо воскресить в памяти картины и чувства детства и организм начинает, как под гипнозом, вновь работать и дышать так, как будто он возвратился к заре своей жизни. Подобное литературное возвращение А. Цветаева продемонстрировала не только в корпусе «Воспоминаний», но и в мемуарном очерке «О брате моём Андрее Ивановиче Цветаеве», опубликованном в «Науке и жизни», в № 3, 1986 г. В том же популярном журнале выходили и её стихи и рассказы о животных, позже собранные в книгу «Непостижимые» (1992).

Сёстры Цветаевы обе были сердечно проникновенны к собакам, кошкам – братьям меньшим... Книга напечатана через год после написанной по совету архимандрита Виктора Мамонтова книги рассказов «О чудесах и чудесном» (1991). К моменту выхода этих книг автору было уже под сто лет и она продолжала работать...

Первые, ранние книги Анастасии Цветаевой «Королевские размышления» (1914), «Дым, дым и дым» (1916) имели неслучайной художественной чертой намеренную фрагментарность.

Это была философская эссеистика и лирико-трагический дневник. Многие другие рукописи дореволюционного периода, а там были, кроме тетрадей дневников, рассказы, стихотворения в прозе, не уцелели до наших дней.

Личному архиву Анастасии Цветаевой, арестованному в 1937 году вместе с ней суждено было исчезнуть. Может быть в «недрах» архивов НКВД, которые, как говорят, огромны и не разобраны, где-то таятся рукописи Анастасии Ивановны – и её неоконченный фантастико-мистический роман «Музей», и её переписка (в том числе с сестрой) и большой фотоархив.

Мы можем лишь кратко рассказать о том, что, по словам писательницы в нём было. Помянем две модернистские книжки, созданные в соавторстве с Георгием Цапок в 1919 г. в Судаче. Это были рукописные книги, назывались: «Начало и конец» и «L'eau» («Вода» – *фр.*). Было большое количество мистико-символических сказок, всего три из их числа сохранившиеся вышли отдельной брошюрой в 1994 году посмертно. Была неоконченная рукопись «Звонарь» (1927-30), посвящённая ясновидящему и ясновидящему звонарю Константину Сараджеву. К этой рукописи в 1927 году с большим интересом отнёсся Горький.

Только в 1977 году вышла восстановленная по памяти версия в журнальном варианте, потом – книга «Мастер волшебного звона» в соавторстве с братом звонаря, Нилом Сараджевым. Была и книга о самом Горьком, часть из которой в 1930 г. опубликовал «Новый мир». Взяв за образец хроникально-документальную книгу А. Федорченко «Народ о войне», А.И. Цветаева написала книгу, где собирала высказывания народа о голоде – «Голодная эпопея».

Однако Горький сказал – «Опоздали вы с этой книгой, Анастасия Ивановна!» На страну после насильственной коллективизации надвигался голод и цензура «голодную» тематику пропустить не могла. В архиве была двухтомная машинопись романа «SOS или созвездие Скорпиона», не пошедшая в печать потому, что автор не согласилась «выпрямить» под «нужную», оптимистическую линию судьбы героев. Были совершенно теперь забытые рукописи книг «Сансибор», (о санатории «Серебряный бор» и о людях там отдохавших), которую создавала ряд лет.

Была и сходная по жанру повесть «Санузия», тоже написанная «с природы» под Москвой, в санатории «Узкое», бывшем имении Трубецких. Ещё более забыт роман А. Цветаевой «Четвёртый Рим», который тоже исчез. Канула и лирико-философская книга «Флейтист». И.Г. Эренбург обещал опубликовать эту рукопись еще в 1920-е годы, но издание осуществлено не было. Были и рассказы на английском языке, один назывался «Dogs and Masters», переводы, в том числе с английского «Герои и героическое» Томаса Карлейля; и поэтические переводы на английский стихотворений М. Лермонтова. Были и её русские и английские собственные, тогда ещё немногочисленные стихотворения, сочинённые до 1937 года.

Читателю остались – её роман «Амог», написанный в сталинском лагере; повесть «История одного путешествия», повесть «Старость и молодость», первоначальное название её было «Кокчетав»; эссеистические повести «Моя Сибирь», «Моя Эстония», «Мой зимний старческий Коктебель», «Моя Голландия». В Сибири А.И. Цветаева жила, когда была осуждена на ссылку «навечно».

В Эстонию много лет ездила летом отдыхать и окуналась в холодный святой источник в Пюхтицком женском монастыре. Две последние повести – это описание путешествий с другом-писателем Ю.И. Гурфинкелем зимой в Коктебель, в Дом-музей М. Волошина; и на самолёте в Голландию в июне 1992 года. Поездка в Амстердам на Международную женскую книжную ярмарку стала последним из больших путешествий её долгой жизни.

Анастасия Ивановна однажды написала свою краткую автобиографию, ещё не зная, что за годы впереди она её существенно творчески дополнит. Жизнь, неполно изложенная в двух больших томах «Воспоминаний», тут размещена на небольшом листке. Мы решили опубликовать и это свидетельство её жизни.

Автобиография Анастасии Ивановны Цветаевой

Родилась в Москве в 1894 году.

Отец заслуженный профессор Московского Университета, основатель Московского Музея Изобразительных искусств (ныне имени Пушкина.)

Языкам (французским и немецким) училась с 1902 – 1905 года за границей в школе в Лозанне и во Фрейбурге.

В 1915 году издала мою первую книгу.

С 1921 года по 24 год работала в ЦУПВОСО в СЦСУ, в Главкустпроме.

С 1924 по 1932 год – библиотекарем в Музее Изобразительных Искусств и в Сельскохозяйственной Академии им. Тимирязева (преподавала языки). Занималась переводами (один из них вышел отдельной книгой в Госиздате в 1924 г. «От рабочего астроному» Бруно Бюргеля).

В 1927 г. ездила в Сорренто к Горькому по его приглашению. Училась английскому языку. С 1928 по 1937 г. повышала квалификацию по англ. яз. в Комбинате иностранных языков и в Институте повышения квалификации преподавателей при МИНЯ (Московский институт новых языков). Окончила его весной 1937 г.

Осенью 1937 г. была арестована. Репрессирована до 1956 г. (10 лет ИТЛ в ДВК, и ссылка в Сибирь).

В 1959 г. реабилитирована.

С 1966 г. живу в Москве.

В 1966 г. в «Новом Мире» (№№1 и 2) вышла часть моих мемуаров «Из прошлого» и статьи в журналах. В 1968 г. к столетию Горького в «Литературной Грузии» и в 1969 г. статья о моём отце «Рождение Музея» в «Науке и Жизни».

В 1971 году первое издание моей книги «Воспоминания» («Сов. Писатель») В 1974 году второе дополнительное издание моих «Воспоминаний». В ближайших №№ журнала «Москва» выйдет моя повесть (4 печатных листа) «Сказ о Московском звонаре».

В 1978 году выйдет по-немецки перевод моей книги «Воспоминания» в ГДР.

В 1975 году в эстонском журнале вышли переводы моих рассказов. В данное время мне 82 года. Член Литфонда и член Профкома писателей при издательстве «Советский Писатель».

Анастасия Цветаева

7. 01. 1977 г.

Москва

В «Воспоминаниях» Анастасии Ивановны Цветаевой есть две последние части, которые выглядят как приложения к основному тексту мемуаров. Это «Поездка к Горькому. Встреча с Мариной» и «Последнее о Марине». В самой конечной части повествуется о поездке в Татарию, в Елабугу, где были сделаны усилия – узнать как можно больше о смерти сестры, об обстоятельствах её ухода из жизни. Было намерение – найти затерянную на елабужском кладбище могилу Поэта.

Анастасия Ивановна, не найдя могилу, установила крест в той стороне кладбища, где были захоронения 1941 года. Она возвратилась в Москву и по сделанным в пути заметкам записала услышанное и увиденное, дополнив сведениями, собранными от разных людей. Теперь, когда открыты архивы, в том числе и фонд М. Цветаевой в

РГАЛИ, можно сказать, что многие «сенсационные» версии гибели поэта не подтвердились. Мнение Анастасии Ивановны наоборот, не опровергнуто, оно равноправно с другими, и во многом получило подтверждение, когда были опубликованы дневники Г.С. Эфрона. Но об этом позже.

Анастасия Ивановна узнала, что в пылу ссоры сын крикнул матери – «Ну кого-нибудь из нас **вынесут** отсюда вперед ногами!» и почувствовала, что эта фраза могла стать побудительным мотивом к действию. Значит, решила она, Марина ушла из жизни, чтобы не ушёл сын. И самоубийство её было жертвенным.

Могло быть и так, что, идя на самоубийство, сама не в силах ни содержать сына, ни найти с ним общего языка, она решила уйти из жизни, чтобы сироту пожалели, не оставили помощью и участием. Возможно, в старой России и не оставили бы, поддержали. Но те, к кому были обращены её прощальные письма, в судьбе сына приняли минимальное участие.

Само существование этих писем говорит о многом. Во всех трёх оставленных ею посмертных записках речь идёт прежде всего о сыне. Письмо с обращением «Дорогие товарищи!» – мольба, обращённая к писателям – отвезти сына к Н. Асееву в Чистополь. Она беспокоится – как доедет, ведь – «Проходы страшные!». Говорит, что хочет, чтобы сын жил и учился. И добавляет «Со мною он пропадёт». А чтобы не пропал, надо освободить сына от себя и от своего отчаяния. И в письме к самому Асееву и сёстрам Синяковым, снова о Муре, – она отдаёт им самое дорогое, свой творческий архив и сына. «Завещая» его в семью Асеевых, она говорит: «Я больше для него ничего не могу и только его гублю». Можно себе представить, сколько раз сын говорил матери о том, что его она губит – теми или другими словами. Весьма знаменательны свидетельства из книги Кирилла Хенкина «Охотник вверх ногами» (М., 1991), автор был хорошо знаком ещё по Парижу с семьёй Цветаевых-Эфронов, он пишет: «...Наша последняя встреча. Москва. Начало июня 1941 года, канун войны. Где-то около Чистых прудов. Не повернуться в странной треугольной комнатёнке – окна без занавесок, слепящий солнечный свет, страшный цветаевский беспорядок...

Самого разговора не помню. Но хорошо помню его тональность. Непонятные мне взрывы раздражения у сына Мура. Не только на мать, но и на уже исчезнувшего, расстрелянного (хотя этого ещё не знали) отца, на арестованную Алю. Невысказанный упрёк. Я тогда решил: злоба на тех, кто привёз его в эту проклятую страну. Так оно, вообще говоря, и было... Мур не мог простить, что ... погубили его жизнь. Хотя шпионаж (С. Я. Эфрона – Ст. А.) был, возможно, следствием, вторичным явлением. Средством вернуть Марину в Россию».

В полном прощальной нежности письме к сыну, Марина Ивановна пишет: «Мурлыга! Прости меня, но дальше было бы хуже. Я тяжело больна, это уже не я. Люблю тебя безумно. Пойми, что я дальше не могла жить». – Если и была больна Марина Ивановна, то только тем, что окончательно потеряла волю к жизни. «М. И. была абсолютно здорова к моменту самоубийства», – сообщает сын в своем дневнике (31.08.41), видимо, говоря о здоровье физическом. Душа же её давно была больна отчаянием. В повести «Старость и молодость» Анастасия Ивановна, в частности, замечает: «Демоническое начало в Марине, отчаяние было сильней, чем во мне. От него она – глохла? к миру? (отъединение)» (254).

Не забудем, что первую попытку самоубийства Марина Цветаева совершила в Германии, – в двенадцать лет пошла топить в реку, потому что маленькая Ася её «не понимала». Об этом Анастасия Ивановна написала еще в 1916 году в книге «Дым, дым и дым», вышедшей с посвящением сестре. Автор этих строк слышал от Анастасии Ивановны и устный рассказ об этом. Следующая попытка относится к 1908 г., тогда было написано ныне утерянное прощальное письмо.

Она многие годы, не только последние два по её выражению, так или иначе «примеряла крюк». Самоубийство, по глубокому наблюдению П. Д. Успенского, автора книги «У последней черты» (1913) не бывает внезапным поступком. Нет, это процесс. Человек отравляет себя постепенно мыслью о самовольном уходе из жизни. Лелеет эту мысль, пока сгустившиеся жизненные обстоятельства не крикнут ему в лицо – «пора!». И тогда следует неизбежное.

Марину Ивановну держали собственно на земле две вещи – чувство долга и творчество. Творчество к моменту самоубийства для неё закончилось, стихов она больше не писала.

Ещё во Франции она говорила своему другу, Марку Слониму: «Я хотела бы умереть, но приходится жить ради Мура. Але и Сергею Яковлевичу я больше не нужна». Муж, бывший белый офицер, потом евразиец, и дочь серьёзно увлеклись Советской Россией. Увлечение их переросло в деятельность в «Союзе возвращения на родину», под «крышей» этой организации работала советская разведка. Об этом статья М. Фейнберг и Ю. Ключкина «По вновь открывшимся обстоятельствам...» («Горизонт», 1992, № 1, с. 53). Там приводится письмо А. С. Эфрон к подполковнику юстиции Камышникову от 25 июня 1955 г. по поводу посмертной реабилитации отца, где она дважды говорит об участии «в нашей заграничной работе». Кроме того, сын Анастасии Ивановны, А.Б. Трухачёв рассказывал, что в 1937 году он, зная о прибытии Ариадны, отправился на вокзал, увидел, что её встречали люди из НКВД. Она передала им чемоданчик и на машине того же ведомства отбыла. На вокзале Андрей Борисович только со стороны наблюдал за происходящим, подойти не решился, встретились они позже.

Когда обвинённый в причастности к политическому убийству невозвращенца Игнатия Рейсса Сергей Эфрон бежал в Советскую Россию, М. Цветаева осталась без средств к существованию. Эмигрантские литературные круги и так не жаловали Цветаеву за независимый характер и за сложный, далеко не всем понятный стиль стихов и поэм, а тут муж оказался советским агентом! Её не только не печатали, её стали открыто игнорировать, устроили настоящий бойкот... Иного пути, кроме возвращения в Россию, то есть в СССР, у неё уже не было. Тем более, там уже был Сергей Яковлевич, жила и работала дочь Ариадна. И туда усиленно рвался, тоже уверовав в «светлое будущее», сын Георгий, Мур.

И вот она в России, в Советской России. Сначала арестовали дочь. Потом, выбив из неё показания на Сергея Яковлевича, взяли и его. Она оказалась с сыном снова одна – мыкалась по чужим углам, снимая на последние деньги жильё. Потом война, ужас перед которой её обуревал ещё во Франции. Всеобщая нарастающая тревога, переходящая в панику во время авианалётов. Взрывы бомб, прожектора, направленные в небо. Вот что говорила очевидец того времени И.Б. Шукст, рассказывая о том, как видела Марину Ивановну в бомбоубежище: «Кто охал всё время, кто спал. А Марина Ивановна, как села

напряжённо, как изваяние – прямая, как стрела, вперив вперёд стеклянные глаза, руки вцепив в колени, будто дамклов меч над ней, всю бомбежку так и просидела. Вид её был ужасный. Мур был спокоен, может быть, даже спал... Напряжение, которое в Марине было и раньше, с войной резко усилилось, может быть она ждала ареста, может быть боялась, что Мура убьют...» (Журнал «Россияне», № 11-12, с. 37).

Жена осуждённого «врага народа», французского шпиона с белогвардейским прошлым; сестра Анастасии Ивановны, осуждённой как контрреволюционерка; мать Ариадны, также осуждённой как иностранная шпионка... Что было ждать Марине Цветаевой при таком её «семейном положении»? Кстати, пока близкие были на воле, а Марина Ивановна собиралась в Советский союз, муж и дочь, бывшие тогда уже в СССР, арест и заключение Анастасии от неё скрыли, не написали. Когда Марина Ивановна у встречающих спросила: «А где же Ася?» – тогда и выяснилось, что сестра за свой «идеализм» отбывает срок. Они ещё не ведали, что совсем скоро последуют за нею в тюремный ад. Арестованного соседа Цветаевой по даче в Болшево, тоже «возвращенца», Н.А. Клепинина следователь настойчиво спрашивал о М. Цветаевой, о её взглядах, настроениях. В деле сохранились показания Клепинина 7 янв. 1940 г.: «Она говорила, что приехала из Франции только оттого, что здесь находятся её дочь и муж, что СССР ей враждебен, что она никогда не сумеет войти в советскую жизнь. Подобные разговоры она вела очень часто... В связи с арестом сначала сестры, а потом и дочери и мужа её недовольство приняло более конкретный характер. Она говорила, что аресты несправедливы». В книге И. Кудровой «Гибель М. Цветаевой», где эти показания приведены (с. 133), высказывается версия о том, что С. Я. Эфрон лично не участвовал в убийстве Рейса. Он был «групповод и наводчик-вербовщик», который по заданию зам. начальника иностранного отдела НКВД С.М. Шпигельгласса «организовал группу, выследившую Рейса и осуществившую убийство» (с. 142). Однако арестован С.Я. Эфрон был не в связи со своей неудачной «работой» во Франции, о которой следователь ничего не хотел даже слушать, а оттого, что просто нужно было подготовить ещё один громкий политический судебный процесс.

В Голицине Марина Ивановна встречалась в Доме творчества писателей с Ноем Лурье и горько сетовала: «Неужели я здесь оказалась тоже чужой, как там?». – Он пытался её успокоить, говорил, что со временем, надо надеяться, трудности пройдут. Она была безутешна. – Боюсь, что мне не справиться с этим... – повторяла она. 10 июня 1941 г. Марина Ивановна подписывает письмо советскому поэту и переводчику А. Кочеткову – «Очень растерянная и несчастная МЦ».

Тучи сгущались, началась война, войска вермахта подходили к Москве. Марина металась, воля к жизни, цветаевская чёткость этой воли постепенно покидали её. Творчество кончилось. Остался только на глазах взрослеющий, грубеющий, рвущийся из-под её крыла сын. Дальше эвакуация – Чистополь, Елабуга. Всеобщая тревога и безысходность, попытки устроиться на работу. Житьё за занавеской у хозяев, которые с трудом терпели небогатую жиличку с сыном. С сыном она ссорилась постоянно – доходило до крика на непонятном им, французском языке. И слух о ней шёл – белогвардейка, эмигрантка. Известно, страх был. Восемидесятилетний елабужский житель А. И. Сизов уже во времена перестройки рассказал, что познакомился с эвакуированной, пытался помочь... А хозяйка её квартирная, Анастасия Бродельщикова, на вопрос «Ты чего с жилищей не поладила?», ему ответила: «Да вот, пайка у ней нет. И ещё приходят эти, с Набережной, рассматривают её бумаги, когда её нет, да меня

расспрашивают о ней – что говорит, кто к ней приходит. Одно беспокойство...». Так что в её отсутствие приходили «с Набережной», так в Елабуге называли здание НКВД. Вот ещё одно звено в ложащейся кругами, стягивающейся цепи, ускорившей последний шаг... Благодаря К. Хенкину мы располагаем сведениями о тех слухах, которые ходили в недрах спецслужб: «В воскресенье 31 августа, спустя десять дней после приезда её из Москвы, хозяйка дома, Анастасия Ивановна Бродельщикова, нашла Марину Ивановну Цветаеву висящей на толстом гвозде в сенях с левой стороны входа. Она так и не сняла перед смертью фартука с большим карманом, в котором хлопотала по хозяйству в это утро, отправляя Мура на расчистку площадки под аэродром. После смерти Марины Цветаевой оставались привезённые ею из Москвы продукты и 400 рублей. Хозяйка дома говорила: “Могла бы ещё продержаться... Успела бы, когда всё съели...” Могла, конечно. Сколько людей в России выдержали, потому что ждали пайку или банного дня. Узнав, что перед самоубийством Марина Цветаева ездила в Чистополь к поэту Асееву и писателю Фадееву, Пастернак позже ворчал: “Почему они ей не дали денег? Ведь я бы им потом вернул”. Но я ещё тогда узнал, что не за деньгами ездила Марина Ивановна в Чистополь, а за сочувствием и помощью. Историю эту я слышал от Маклярского. Мне её глухо подтвердила через несколько лет Аля. Но быстро перестала об этом говорить. Сразу по приезде Марины Ивановны в Елабугу, назвал её к себе местный уполномоченный НКВД и предложил “помогать”. Провинциальный чекист рассудил, вероятно, так: женщина приехала из Парижа – значит в Елабуге ей плохо. Раз плохо, к ней будут лнуть недовольные, начнутся разговоры, которые позволят всегда “выявить врагов”, то есть сострять дело. А может быть пришло в Елабугу “дело” семьи Эфрон с указанием на увязанность её с “органами”. Не знаю. Рассказывая мне об этом, Миша Маклярский честил хама чекиста из Елабуги, не сумевшего деликатно подойти, изящно завербовать, и следил зорко за моей реакцией...»

Все эти слухи никак не опровергают мнения Анастасии Ивановны. Они лишь дополняют представление о той ужасающей атмосфере, в которую попала Марина Ивановна.

В дневниках сына Георгия, которые ныне опубликованы, к матери, пока она была жива и даже после наблюдается отношение очень отстранённое. Недаром цветаевским чутьем Анастасия Ивановна, в лагере получив письмо от племянника, почувствовала этот холод к матери и её памяти. По большому счету возможно, что потеря душевного контакта с последним по-настоящему близким человеком, с сыном, его душевная глухота, характерная подросткам этого возраста, стали настоящей последней каплей во Грааль земных страданий поэта...

Г. Эфрон, «Дневники», запись: «31 августа мать покончила с собой – повесилась. Узнал я это, приходя с работы на аэродроме, куда меня мобилизовали. Мать последние дни часто говорила о самоубийстве, прося её “освободить”. И покончила с собой» (31.08.41-5.09.41 II, с. 7). Мало кто обращает внимание на эту предсмертную просьбу. А зря. Освободить – от чего? Да от чувства долга перед несовершеннолетним сыном! Вот что её мучило, вот что держало на земле. Ни Сергею Яковлевичу, ни Ариадне Сергеевне она уже ничем помочь не могла. Когда же почувствовала, что её силы иссякли, дух сопротивления жизни сломлен, воля сникла – тогда свершила давно задуманное.

Известный исследователь-цветаевед Ирма Кудрова в статье «Третья версия. Ещё раз о последних днях Марины Цветаевой» пишет: «Известно, что дня за два-три до прибытия

Марины Ивановны вопрос о возможности её переезда из Елабуги уже обсуждался на заседании совета эвакуированных. Наверняка это произошло по инициативе той самой Флоры Лейтес, телеграммы от которой Цветаева так ждала. Флора побывала у Николая Николаевича Асеева и, стараясь уговорить его, обещала, что поселит Цветаеву с сыном у себя, так что не придётся даже искать жильё. И Асеев согласился вынести вопрос на заседание. Однако там резко недоброжелательную позицию занял драматург Константин Андреевич Тренёв. Год назад он передал для Цветаевой то ли 50, то ли 100 рублей, по случаю, вместе с Маршаком, и теперь запальчиво говорил об “иждивенческих настроениях” недавней белоэмигрантки. А Асеев не стал защищать интересы Цветаевой. Может быть, просто побоялся возразить на тренёвскую аргументацию: муж – белогвардеец, сама – белоэмигрантка, а Чистополь и без того переполнен...». И всё же заболевший Н. Асеев на следующий день прислал от себя письмо в поддержку просьбы Цветаевой о прописке... Мнение К. Тренёва не стало решающим. И всё же...

Мало кому известно, что ненависть к М. Цветаевой у Тренёва была продолжением его нелюбви к её сестре Анастасии, с которой познакомился в 1936 г. в Доме творчества писателей в Эртелевке (бывшем имении родственников писателя А. И. Эртеля), в Воронежской губернии. Тренёв внешне напоминал Горького, это расположило к нему Анастасию Ивановну. Он рассказывал ей, что при знакомстве с Горьким и он и Горький хором сказали: «Так вот Вы какой!». Дружба была тёплой, с его стороны на грани увлечения. Когда её срок отдыха кончился и она уезжала, он простирал ей вслед руки... Далее в августе 1936 г. было опубликовано обращение, поддерживающее репрессивный процесс по делу о «троцкистско-зиновьевском “Объединённом центре”, в том числе и против Л.Б. Каменева, с которым Анастасия Ивановна познакомилась у Горького. Она рассказывала автору этих строк: «В Первом МХАТе я актёрам преподавала осенью 1936 года английский язык два раза в неделю. Входит Тренёв, он ставил свою “Любовь Яровую” – ко мне бросился как к другу. Я уже прочла в газетах, что писатели одобрили это “мероприятие”. Там была его подпись. – С этими людьми, Константин Андреевич, Вы подписали то, что было в газетах. Вы это зря подписали! Он отвечал: “Вы же знаете, как это делается, приезжают к Вам на дом...” Я в ответ молчала. Он преследовал потом Марину. Дал ей в долг и требовал с нее, кажется, 1000 рублей. И ратовал, чтобы её не прописывали». Так что не только «классовая бдительность коммуниста» заставляла Тренёва выступать против прописки эвакуированной М. Цветаевой в Чистополе, но и личный мотив...

Предконечные дни были днями метаний, нерешительных попыток зацепиться – за работу, за жильё, за прописку. Сын же намеренно устранялся от каких бы то ни было решений. 30.08.41 он записывает: «Мать как вертушка: совершенно не знает, оставаться ей здесь или переезжать в Чистополь. Она пробует добиться от меня “решающего слова”, но я отказываюсь это “решающее слово” произнести, потому что не хочу, чтобы ответственность за грубые ошибки матери падала на меня» (Г. Эфрон, Дневники в 2-х тт. М., «Вагриус», 2004, т I, с. 539).

Вскоре после самоубийства Марины Ивановны, – именно так в дневнике он величает мать, – Георгий ледовито записывает 19.09.41: «Льёт дождь. Думаю купить сапоги. Грязь страшная. Страшно всё надоело. Что сейчас бы делал с мамой? Au fond (по существу – фр.) она совершенно правильно поступила – дальше было бы позорное существование» (Г. Эфрон, Дневники в 2-х тт. М., «Вагриус», 2004, т. 2, с.27).

И только много спустя, 08.01.43 он напишет гражданскому мужу своей сестры Ариадны, Самуилу Гуревичу: «Я вспоминаю Марину Ивановну в дни эвакуации из Москвы, её предсмертные дни в Татарии. Она совсем потеряла голову, совсем потеряла волю; она была одно страдание. Я тогда совсем не понимал её и злился на неё за такое внезапное превращение... Но как я её понимаю теперь!» (Г. Эфрон. Письма, Королев, Дом-музей М. Цветаевой в Болшеве, 2002, с. 108). Это написал уже человек одинокий, немало перестрадавший, воровавший с голоду, которому осталось недолго жить до своей безвременной гибели на фронте.

Если вчитаться внимательно в текст Анастасии Ивановны, она лишь отражает узнанные события, и никого не обвиняет. Просто показывает возможную причину и следствие. И ей, как человеку православно религиозному, хотелось доискаться до возможного оправдания сестры перед Богом – жертвенное самоубийство можно хоть как-то оправдать!? Анастасия добилась своего – её сестру отпели и теперь, бывает, поминают во храмах всея Руси. Племянника она тоже старалась понять. Понять его юношеское отвержение. Она пишет: «То, что было её жизнью с ним, **забота**, для него было **насилие**. Он задыхался». «Меньше всего я возлагаю вину за смерть Марины на Мура... я слишком хорошо понимала жгучий узел, связавший их двух»...

И вот печальный итог тяжёлого рока обожжённых пожаром истории двух ветвей этой трагической семьи – М. И. Цветаева покончила собой. Могила её на елабужском кладбище условна. Сергей Яковлевич Эфрон расстрелян в тюрьме; могилы нет. Его мать, Елизавета Эфрон в 1910 г. покончила с собой, вслед за повесившимся братом Сергея Яковлевича, Константином. Их могилы затеряны. Сын Георгий погиб в 1944 году.

Могила братская, условная. Младшая дочь Ирина умерла в 1920-ом, ей было два года. Могила неизвестна. Однако все они, ушедшие и растаявшие в прошлом, оживают в памяти тех, кто душою приникает к наследию Марины Цветаевой, кто читает «Воспоминания» её сестры Анастасии, мемуарную прозу дочери Ариадны, и всю огромную мировую библиотеку исследований, посвящённую талантливому представителем семьи, создавшей столько культурных ценностей для их родины, России.